

В.Ф. Ходасевич

## Горький

Я помню отчетливо первые книги Горького, помню обывательские толки о новоявленном писателе-босяке. Я был на одном из первых представлений «На дне» и однажды написал напыщенное стихотворение в прозе, навеянное «Песнью о Соколе». Но все это относится к поре моей ранней юности. Весной 1908 года моя приятельница Нина Петровская была на Капри и видела на столе у Горького мою первую книгу стихов. Горький спрашивал обо мне, потому что читал все и интересовался всеми. Однако долгие годы меж нами не было никакой связи. Моя литературная жизнь протекала среди людей, которые Горькому были чужды и которым Горький был так же чужд.

В 1916 году в Москву приехал Корней Чуковский. Он сказал мне, что возникшее в Петербурге издательство «Парус» собирается выпускать детские книги, и спросил, не знаю ли я молодых художников, которым можно заказать иллюстрации. Я назвал двух-трех москвичей и дал адрес моей племянницы, жившей в Петербурге. Ее пригласили в «Парус», там она познакомилась с Горьким и вскоре сделалась своим человеком в его шумном, всегда многолюдном доме.

Осенью 1918 года, когда Горький организовал известное издательство «Всемирная литература», меня вызвали в Петербург и предложили заведовать московским отделением этого предприятия. Приняв предложение, я счел нужным познакомиться с Горьким. Он вышел ко мне, похожий на ученого китайца: в шелковом красном халате, в пестрой шапочке, скуластый, с большими очками на конце носа, с книгой в руках. К моему удивлению, разговор об издательстве был ему явно неинтересен. Я понял, что в этом деле его имя служит лишь вывеской.

В Петербурге я задержался дней на десять. Город был мертв и жуток. По улицам, мимо заколоченных магазинов, лениво ползли немногочисленные трамваи. В нетопленных домах пахло воблой. Электричества не было. У Горького был керосин. В его столовой на Кронверкском проспекте горела большая лампа. Каждый вечер к ней собирались люди. Приходили А.Н. Тихонов и З.И. Гржебин, ворочавшие делами «Всемирной литературы». Приезжал Шаляпин, шумно ругавший большевиков. Однажды явился Красин — во фраке, с какого-то «дипломатического» обеда, хотя я не представляю себе, какая тогда могла быть дипломатия. Выходила к гостям Мария Федоровна Андреева со своим секретарем П.П. Крючковым. Появлялась жена одного из членов императорской фамилии — сам он лежал больной в глубине горьковской квартиры. Большой портрет Горького — работа моей племянницы — стоял в комнате больного. У него попросили разрешения меня ввести. Он протянул мне горячую руку. Возле постели рычал и бился бульдог, завернутый в одеяло, чтобы он на меня не бросился.

В столовой шли речи о голоде, о гражданской войне. Барабанила пальцами по столу и глядя поверх собеседника, Горький говорил: «Да, плохи, плохи дела», — и не понять было, чьи дела плохи и кому он сочувствует. Впрочем, старался он обрывать эти разговоры. Тогда садились играть в лото и играли долго. Ненастной петербургской ночью, под хлопанье дальних выстрелов, мы с племянницей возвращались к себе на Большую Монетную.

Вскоре после того Горький приехал в Москву. Правление Всероссийского союза писателей, недавно возникшего, поручило мне пригласить Горького в число членов. Он тотчас согласился и подписал заявление, под которым, по уставу, должна была значиться рекомендация двух членов правления. Рекомендацию подписали Ю.К. Балтрушайтис и я. Эта забавная бумага, вероятно, найдется в архиве Союза, если он сохранился.

Летом 1920 года со мной случилась беда. Обнаружилось, что одна из врачебных комиссий, через которую проходили призываемые на войну, брала взятки. Нескольких врачей расстреляли, а всех, кто был ими освобожден, подвергли переосвидетельствованию. Я очутился в числе этих несчастных, которых новая комиссия сплошь признавала годными в строй, от страха не глядя уже ни на что. Мне было дано два дня срока, после чего предстояло прямо из санатория отправляться во Псков, а оттуда на фронт. Случайно в Москве очутился Горький. Он мне велел написать Ленину письмо, которое сам отвез в Кремль. Меня еще раз освидетельствовали и, разумеется, отпустили. Прощаясь со мной, Горький сказал:

— Перебирайтесь-ка в Петербург. Здесь надо служить, а у нас можно еще писать.

Я послушался его совета и в середине ноября переселился в Петербург. К этому времени горьковская квартира оказалась густо заселена. В ней жила новая секретарша Горького Мария Игнатьевна Бенкендорф (впоследствии баронесса Будберг); жила маленькая студентка-медицка, по прозвищу Молекула, славная девушка, сирота, дочь давнишних знакомых Горького; жил художник Иван Николаевич Ракицкий; наконец, жила моя племянница с мужем. Вот это последнее обстоятельство и определило раз и навсегда характер моих отношений с Горьким: не деловой, не литературный, а вполне частный, житейский. Разумеется, литературные дела возникали и тогда, и впоследствии, но как бы на втором плане. Иначе и быть не могло, если принять во внимание разницу наших литературных мнений и возрастов.

С раннего утра до позднего вечера в квартире шла толчея. К каждому ее обитателю приходили люди. Самого Горького осаждали посетители — по делам «Дома Искусства», «Дома Литераторов», «Дома Ученых», «Всемирной литературы»; приходили литераторы и ученые, петербургские и приезжие; приходили рабочие и матросы — просить защиты от Зиновьева, всесильного комиссара Северной области; приходили артисты, художники, спекулянты, бывшие сановники, великосветские дамы. У него просили заступничества за арестованных, через него добывали пайки, квартиры, одежду, лекарства, жиры, железнодорожные билеты, командировки, табак, писчую бумагу, чернила, вставные зубы для стариков и молоко для новорожденных — словом, все, чего нельзя было достать без протекции. Горький выслушивал всех и писал бесчисленные рекомендательные письма. Только однажды я видел, как он отказал человеку в просьбе: это был клоун Дельвари, который непременно хотел, чтобы Горький был крестным отцом его будущего ребенка. Горький вышел к нему весь красный, долго тряс руку, откашливался и, наконец, сказал:

— Обдумал я вашу просьбу. Глубочайше польщен, понимаете, но, к глубочайшему сожалению, понимаете, никак не могу. Как-то оно, понимаете, не выходит, так что уж вы простите великодушно.

И вдруг, махнув рукой, убежал из комнаты, от смущения не простившись.

Я жил далеко от Горького. Ходить по ночным улицам было утомительно и небезопасно: грабили. Поэтому я нередко оставался ночевать — мне стелили в столовой на оттоманке. Поздним вечером суэта стихала. Наступал час семейного чаепития. Я становился для Горького слушателем тех его воспоминаний, которые он так любил и которые всегда пускал в ход, когда хотел «шармировать» нового человека. Впоследствии я узнал, что число этих рассказов было довольно ограничено и что, имея всю видимость импровизации, повторялись они слово в слово из года в год. Мне не раз попадались на глаза очерки людей, случайно побывавших у Горького, и я всякий раз смеялся, когда доходил до стереотипной фразы: «Неожиданно мысль Алексея Максимовича обращается к прошлому, и он невольно отдается во власть воспоминаний». Как бы то ни было, эти ложные импровизации были сделаны превосходно. Я слушал их с наслаждением, не понимая, почему остальные слушатели друг другу подмигивают и один за другим исчезают по своим комнатам. Впоследствии каюсь — я сам поступал точно так же, но в те

времена мне были приятны ночные часы, когда мы оставались с Горьким вдвоем у остывшего самовара. В эти часы постепенно мы сблизились.

Отношения Горького с Зиновьевым были плохи и с каждым днем ухудшались. Доходило до того, что Зиновьев устраивал у Горького обыски и грозился арестовать некоторых людей, к нему близких. Зато и у Горького иногда собирались коммунисты, настроенные враждебно по отношению к Зиновьеву. Такие собрания камуфлировались под видом легких попок с участием посторонних. Я случайно попал на одну из них весной 1921 г. Присутствовали Лашевич, Ионов, Зорин. В конце ужина с другого конца стола пересел ко мне довольно высокий, стройный, голубоглазый молодой человек в ловко сидевшей на нем гимнастике. Он наговорил мне кучу лестных вещей и цитировал наизусть мои стихи. Мы расстались друзьями. На другой день я узнал, что это был Бакаев.

Вражда Горького с Зиновьевым (впоследствии сыгравшая важную роль и в моей жизни) закончилась тем, что осенью 1921 года Горький был принужден покинуть не только Петербург, но и советскую Россию. Он уехал в Германию. В июле 1922 года обстоятельства личной жизни привели меня туда же. Некоторое время я прожил в Берлине, а в октябре Горький уговорил меня перебраться в маленький городок Saagow, близ Фюрстенвальде. Он там жил в санатории, а я в небольшом отеле возле вокзала. Мы виделись каждый день, иногда по два и по три раза. Весной 1923 г. я и сам перебрался в тот же санаторий. Сааровская жизнь оборвалась летом, когда Горький с семьей переехал под Фрейбург. Я думаю, что тут были кое-какие политические причины, но официально все объяснялось болезнью Горького.

Мы расстались. Осенью я ездил на несколько дней во Фрейбург, а затем, в ноябре, уехал в Прагу. Спустя несколько времени туда приехал и Горький, поселившийся в отеле «Беранек», где жил и я. Однако обоих нас влекло захолустье, и в начале декабря мы переселились в пустой, занесенный снегом Мариенбад. Оба мы в это время хлопотали о визах в Италию. Моя виза пришла в марте 1924 г., и так как деньги мои были на исходе, то я поспешил уехать, не дожидаясь Горького. Проведя неделю в Венеции и недели три в Риме, я уехал оттуда 13 апреля — в тот самый день, когда Горький вечером должен был приехать. Денежные дела заставили меня прожить до августа в Париже, а потом в Ирландии. Наконец, в начале октября, мы съехались с Горьким в Сорренто, где и прожили вместе до 18 апреля 1925 года. С того дня я Горького уже не видал.

Таким образом, мое с ним знакомство длилось семь лет. Если сложить те месяцы, которые я прожил с ним под одною кровлей, то получится года полтора, и потому я имею основание думать, что хорошо знал его и довольно много знаю о нем. Всего, что мне сохранила память, я не берусь изложить сейчас, потому что это заняло бы слишком много месца и потому, что мне пришлось бы слишком близко коснуться некоторых лиц, ныне здравствующих. Последнее обстоятельство заставляет меня, между прочим, почти не касаться важной стороны в жизни Горького: я имею в виду всю область его политических взглядов, отношений и поступков. Говорить все, что знаю и думаю, я сейчас не могу, а говорить недомолвками не стоит. Я предлагаю вниманию читателей беглый очерк, содержащий лишь несколько наблюдений и мыслей, которые кажутся мне небесполезными для понимания личности Горького. Я даже решаюсь полагать, что эти наблюдения пригодятся и для понимания той стороны его жизни и деятельности, которой в данную минуту я не намерен касаться.

\* \* \*

Большая часть моего общения с Горьким протекла в обстановке почти деревенской, когда природный характер человека не заслонен обстоятельствами городской жизни. Поэтому я для начала коснусь самых внешних черт его жизни, повседневных его привычек.

День его начинался рано: он вставал часов в восемь утра и, выпив кофе и проглотив два сырых яйца, работал без перерыва до часу дня. В час полагался обед, который с послеобеденными разговорами растягивался часа на полтора. После этого Горького начинали вытаскивать на прогулку, от которой он всячески уклонялся. После прогулки он снова кидался к письменному столу — часов до семи вечера. Стол всегда был большой, просторный, и на нем в идеальном порядке были разложены письменные принадлежности. Алексей Максимович был любитель хорошей бумаги, разноцветных карандашей, новых перьев и ручек — стило никогда не употреблял. Тут же находился запас папирос и пестрый набор мундштуков — красных, желтых, зеленых. Курил он много.

Часы от прогулки до ужина уходили по большей части на корреспонденцию и на чтение рукописей, которые присылались ему в несметном количестве. На все письма, кроме самых нелепых, он отвечал немедленно. Все присылаемые рукописи и книги, порой многотомные, он прочитывал с поразительным вниманием и свои мнения излагал в подробнейших письмах к авторам. На рукописях он не только делал пометки, но и тщательно исправлял красным карандашом описки и расставлял пропущенные знаки препинания. Так же поступал он и с книгами: с напрасным упорством усерднейшего корректора исправлял в них все опечатки. Случалось — он то же самое делал с газетами, после чего их тотчас выбрасывал.

Часов в семь бывал ужин, а затем — чай и общий разговор, который по большей части кончался игрою в карты: либо в 501 (говоря словами Державина, «по грошу в долг и без отдачи»), либо в бридж. В последнем случае происходило, собственно, шлепанье картами, потому что об игре Горький не имел и не мог иметь никакого понятия: он был начисто лишен комбинаторских способностей и карточной памяти. Беря или чаще отдавая тринадцатую взятку, он иногда угрюмо и робко спрашивал:

— Позвольте, а что были козыри?

Раздавался смех, на который он обижался и сердился. Сердился он и на то, что всегда проигрывал, но, может быть, именно по этой причине бридж он любил всего больше. Другое дело — партнеры его: они выискивали всяческие отговорки, чтобы не играть. Пришлось наконец установить бриджевую повинность: играли по очереди.

Около полуночи он уходил к себе и либо писал, облачась в свой красный халат, либо читал в постели, которая всегда у него была проста и опрятна как-то по больничному. Спал он мало и за работою проводил в сутки часов десять, а то и больше. Ленивых он не любил и имел на то право.

На своем веку он прочел колоссальное количество книг и запомнил все, что в них было написано. Память у него была изумительная. Иногда по какому-нибудь вопросу он начинал сыпать цитатами и статистическими данными. На вопрос, откуда он это знает, скидывал он плечами и удивлялся:

— Да как же не знать, помилуйте? Об этом была статья в «Вестнике Европы» за 1887 год, в октябрьской книжке.

Каждой научной статье он верил свято, зато к беллетристике относился с недоверием и всех беллетристов подозревал в искажении действительности. Смотри на литературу отчасти как на нечто вроде справочника по бытовым вопросам, приходил в настоящую ярость, когда усматривал погрешность против бытовых фактов. Получив трехтомный роман Наживина о Распутине, вооружился карандашом и засел за чтение. Я над ним подтрунивал, но он честно трудился дня три. Наконец объявил, что книга мерзкая. В чем дело? Оказывается, у Наживина герои романа, живя в Нижнем Новгороде, отправляются обедать на пароход, пришедший из Астрахани. Я сначала не понял, что его возмутило, и сказал, что мне самому случалось обедать на волжских пароходах, стоящих у пристани. «Да ведь это же перед рейсом, а не после рейса! — закричал он. — После рейса буфет не работает! Такие вещи знать надо!»

Он умер от воспаления легких. Несомненно, была связь между его последней болезнью и туберкулезным процессом, который у него обнаружился в молодости. Но этот процесс был залечен лет сорок тому назад, и если напоминал о себе кашлем, бронхитами и плевритами, то все же не в такой степени, как об этом постоянно писали и как думала публика. В общем он был бодр, крепок — недаром и прожил до шестидесяти восьми лет. Легендою о своей тяжелой болезни он давно привык пользоваться всякий раз, как не хотел куда-нибудь ехать или, наоборот, когда ему нужно было откуда-нибудь уехать. Под предлогом внезапной болезни он уклонялся от участия в разных собраниях и от приема неугодных посетителей. Но дома, перед своими, он не любил говорить о болезни даже тогда, когда она случалась действительно. Физическую боль он переносил с замечательным мужеством. В Мариенбаде рвали ему зубы — он отказался от всякого наркоза и ни разу не пожаловался. Однажды, еще в Петербурге, ехал он в переполненном трамвае, стоя на нижней ступеньке. Вскочивший на полном ходу солдат со всего размаху угодил ему подкованным каблуком на ногу и раздробил мизинец.

Горький даже не обратился к врачу, но после этого чуть ли не года три время от времени предавался странному вечернему занятию: собственноручно вытаскивал из раны осколки костей.

\* \* \*

Больше тридцати лет в русском обществе ходили слухи о роскошной жизни Максима Горького. Не могу говорить о том времени, когда я его не знал, но решительно заявляю, что в годы моей с ним близости ни о какой роскоши не могло быть речи. Все рассказы о виллах, принадлежавших Горькому, и о чуть ли не оргиях, там происходивших, — ложь, для меня просто смешная, порожденная литературной завистью и подхваченная политической враждой. Обыватель не только охотно верил этой сплетне, но и ни за что не хотел с ней расстаться. Живучесть ее была поразительна. Ее, можно сказать, бредили в себе и лелеяли, как душевную рану, — ибо мысль о роскошном образе жизни Горького многих оскорбляла. Фельетонисты возвращались к этой теме всякий раз, как Горький заставлял о себе говорить. В 1927–28 гг. я несколько раз указывал покойному А.А. Яблоновскому, что не надо писать о волшебной вилле на Капри, хотя бы потому, что Горький живет в Сорренто, что уже пятнадцать лет нога его не ступала на каприйскую почву, что даже виза в Италию дана ему под условием не жить на Капри. Яблоновский слушал, кивал головой и вскоре опять принимался за старое, потому что не любил разрушать обывательские иллюзии.

В последние годы каприйская вилла иногда, впрочем, все-таки заменялась соррентинской, но воображаемая на ней жизнь принимала еще более роскошный характер и вызывала еще больше негодования. И вот — я должен покаяться перед человечеством: эта злосчастная вилла была снята не только при моем участии, но даже по моему настоянию. Приехав в Сорренто весной 1924 г., Горький поселился в большой, неудобной, запущенной вилле, которая была ему сдана только до декабря: ее должны были перестроить. В этой вилле я Горького и застал. Когда приблизился срок выезда, стали искать нового прибежища. Так как зимой в Сорренто довольно холодно, то задумали перебраться на южный склон полуострова, под Амальфи. Там нашли виллу, которую совсем уже было сняли. Максим, сын Горького от первого брака, поехал ее посмотреть еще раз. От нечего делать я отправился с ним. Вилла оказалась стоящей на крошечном выступе скалы; под южным ее фасадом находился обрыв сажен в пятьдесят — прямо в море; северный фасад лишь узкою полосой дороги отделялся от огромной скалы, не просто отвесной, но еще нависающей над дорогой. Эта скала постоянно осыпается, как весь амальфитанский берег. Вилла, на которой предстояло нам поселиться, еще за семь месяцев до того стояла на западной окраине маленького поселка, который очередным обвалом был буквально раздавлен и снесен в море. Я это хорошо помнил, потому что как раз в то время

был в Риме. При катастрофе погибло человек сто. Саперы откапывали заживо погребенных, приезжал король. Вилла каким-то чудом уцелела, повиснув над новообразовавшимся обрывом, так что теперь и восточный ее фасад тоже смотрел в пропасть, которой дно еще было усеяно обломками дерева, кирпича и железа. Я объявил Максиму, что жизнь мне дорога и что жить здесь я не стану. Максим насупился — других свободных вилл не было. Мы поехали в Амальфи, а когда возвращались назад часа через два, то в километре от «нашей» виллы принуждены были остановиться и ждать, когда расчищают дорогу: пока мы обедали, случился очередной обвал.

Выбора не оставалось — сняли ту самую виллу «Il Sorito», которой суждено было стать последним прибежищем Горького в Италии. Находилась она не в самом Сорренто, а в полутора километрах от него, на Соррентинском мысу, Capo di Sorrento. Нарядная с виду и красиво расположенная, с чудесным видом на весь залив, на Неаполь, Везувий, Кастелламаре, внутри она имела важные недостатки: в ней было очень мало мебели, и она была холодна. Мы переехали в нее 16 ноября и жестоко мерзли всю зиму, топя немногочисленные каминные сырыми оливковыми ветвями. Ее достоинством была дешевизна: сняли ее за 6000 лир в год, что равнялось тогда пяти тысячам франков. В верхнем ее этаже была столовая, комната Горького (спальня и кабинет вместе), комната его секретарши, баронессы М.И. Будберг, комната Н.Н. Берберовой, моя комната и еще одна, маленькая, для приезжих. Внизу, по бокам небольшого холла, были еще две комнаты: одну из них занимали Максим и его жена, а другую — И.Н. Ракицкий, художник, болезненный и необыкновенно милый человек: еще в Петербурге, в 1918 году, во время солдатчины, он зашел к Горькому обогреться, потому что был болен, — и как-то случайно остался в доме на долгие годы. К этому основному населению надо прибавить мою племянницу, прожившую на «Sorito» весь январь, а потом время от времени приезжавшую из Рима, а также Е.П. Пешкову, первую жену Горького, которая приезжала из Москвы недели на две. Иногда появлялись гости, жившие по соседству, в отеле «Минерва»: писатель Андрей Соболев, приехавший из Москвы на поправку после покушения на самоубийство, профессор Старков с семейством (из Праги) и П.П. Муратов. Иногда к вечернему чаю заходили две барышни, владелицы виллы, сохранившие за собой часть нижнего этажа. Жизнь в двух этажах протекала неодинаково. В верхнем работали, в нижнем, который Алексей Максимович называл детской, играли. Максиму было тогда лет под тридцать, но по характеру трудно было дать ему больше тринадцати. С женой, очень красивой и доброй женщиной, по домашнему прозвищу Тимошей, порой возникали у него размолвки вполне невинного свойства. У Тимоши были способности к живописи. Максим тоже любил порисовать что-нибудь. Случалось, что один и тот же карандаш или резинка обоим были нужны одновременно.

— Это мой карандаш!

— Нет, мой!

— Нет, мой!

На шум появлялся Ракицкий. За ним из раскрытой двери вырывались клубы табачного дыма: его комната никогда не проветривалась, потому что от свежего воздуха у него болела голова. «Свежий воздух — яд для организма», — говорил он. Стоя в дыму, он кричал:

— Максим, сейчас же отдай карандаш Тимоше!

— Да он же мне нужен!

— Сейчас же изволь отдать, ты старше, ты должен ей уступить!

Максим отдает карандаш и уходит, надув губы. Но глядишь — через пять минут он уже все забыл, насвистывает и приплясывает.

Он был славный парень, веселый, уживчивый. Он очень любил большевиков, но не по убеждению, а потому, что вырос среди них и они всегда его баловали. Он говорил: «Владимир Ильич», «Феликс Эдмундович», но ему больше шло бы звать их «дядя

Володя», «дядя Феликс». Он мечтал поехать в СССР, потому что ему обещали подарить там автомобиль, предмет его страстных мечтаний, иногда ему даже сновившийся. Пока что он ухаживал за своей мотоциклеткой, собирал почтовые марки, читал детективные романы и ходил в синематограф, а придя, пересказывал фильм, сцену за сценой, имитируя любимых актеров, особенно комиков. У него у самого был замечательный клоунский талант, и если бы ему нужно было работать, из него вышел бы первоклассный эксцентрик. Но он отродясь ничего не делал. Виктор Шкловский прозвал его советским принцем. Горький души в нем не чаял, но это была какая-то животная любовь, состоявшая из забот о том, чтобы Максим был жив, здоров, весел.

Иногда Максим сажал одного или двух пассажиров в коляску своей мотоциклетки, и мы ездили по окрестностям или просто в Сорренто — пить кофе. Однажды всею компанией были в синематографе. В сочельник на детской половине была елка с подарками; я получил пасьянсные карты, Алексей Максимович — теплые кальсоны. Когда становилось уж очень скучно, примерно раз в месяц, Максим покупал две бутылки Асти, бутылку мандаринового ликера, конфет — и вечером звал всех к себе. Танцевали под граммофон, Максим паясничал, ставили шарады, потом пели хором. Если Алексей Максимович упирался и долго не хотел идти спать, затягивали «Солнце всходит и заходит». Он сперва умолял: «Перестаньте вы, черти драповые», — потом вставал и сгорбившись уходил наверх.

Впрочем, мирное течение жизни разнообразилось каждую субботу. С утра посылали в отель «Минерва» — заказать семь ванн, и часов с трех до ужина происходило поочередное хождение через дорогу — туда и обратно — с халатами, полотенцами и мочалками. За ужином все поздравляли друг друга с легким паром, ели суп с пельменями, изготовленный нашими дамами, и хвалили распорядительную хозяйку «Минервы» синьору Какаче, о фамилии которой Алексей Максимович утверждал, что это — сравнительная степень. Так, по поводу безнадежной любви одного знакомого однажды он выразился: «Положение, какаче которого быть не может».

Приехав в Париж, я узнал, что Горький живет на Капри и проводит время чуть ли не в оргиях.

\* \* \*

О степени его известности во всех частях света можно было составить истинное понятие, только живя с ним вместе. В известности не мог с ним сравниться ни один из русских писателей, которых мне приходилось встречать. Он получал огромное количество писем на всех языках. Где бы он ни появлялся, к нему обращались незнакомцы, запрашивая автографы. Интервьюеры его осаждали. Газетные корреспонденты снимали комнаты в гостиницах, где он останавливался, и жили по два-три дня, чтобы только увидеть его в саду или за табль-д'отом. Слава приносила ему много денег, он зарабатывал около десяти тысяч долларов в год, из которых на себя тратил ничтожную часть. В пище, в питье, в одежде был на редкость неприхотлив. Папиросы, рюмка вермута в угловом кафе на единственной соррентинской площади, извозчик домой из города — положительно, я не помню, чтобы у него были еще какие-нибудь расходы на личные надобности. Но круг людей, бывших у него на постоянном иждивении, был очень велик, я думаю — не меньше человек пятнадцати в России и за границей. Тут были люди различнейших слоев общества, вплоть до титулованных эмигрантов, и люди, имевшие к нему самое разнообразное касательство: от родственников и свойственников — до таких, которых он никогда в глаза не видал. Целые семьи жили на его счет гораздо привольнее, чем жил он сам. Кроме постоянных пенсионеров, было много случайных; между прочим, время от времени к нему обращались за помощью некоторые эмигрантские писатели. Отказа не получал никто. Горький раздавал деньги, не соображаясь с действительной нуждой просителя и не заботясь о том, на что они пойдут. Случалось им застревать в передаточных инстан-

циях — Горький делал вид, что не замечает. Этого мало. Некоторые лица из его окружения, прикрываясь его именем и положением, занимались самыми предосудительными делами — вплоть до вымогательства. Те же лица, порою люто враждовавшие друг с другом из-за горьковских денег, зорко следили за тем, чтобы общественное поведение Горького было в достаточной мере прибыльно, и согласными усилиями, дружным напором, направляли его поступки. Горький изредка пробовал бунтовать, но в конце концов всегда подчинялся. На то были отчасти самые простые психологические причины: привычка, привязанность, желание, чтобы ему дали спокойно работать. Но главная причина, самая важная, им самим, вероятно, не сознаваемая, заключалась в особенном, очень важном обстоятельстве: в том крайне запутанном отношении к правде и лжи, которое обозначилось очень рано и оказало решительное влияние как на его творчество, так и на всю его жизнь.

Он вырос и долго жил среди всяческой житейской скверны. Люди, которых он видел, были то ее виновниками, то жертвами, а чаще — и жертвами, и виновниками одновременно. Естественно, что у него возникла (а отчасти была им вычитана) мечта об иных, лучших людях. Потом неразвитые зачатки иного, лучшего человека научился он различать кое в ком из окружающих. Мысленно очищая эти зачатки от налипшей дикости, грубости, злобы, грязи и творчески развивая их, он получил полуреальный, полувоображаемый тип благородного босняка, который, в сущности, приходился двоюродным братом тому благородному разбойнику, который был создан романтической литературой.

Первоначальное литературное воспитание он получил среди людей, для которых смысл литературы исчерпывался ее бытовым и социальным содержанием. В глазах самого Горького его герой мог получить социальное значение и, следовательно, литературное оправдание только на фоне действительности и как ее подлинная часть. Своих мало реальных героев Горький стал показывать на фоне сугубо реалистических декораций. Перед публикой и перед самим собой он вынужден притворяться бытописателем. В эту полуправду он и сам полууверовал на всю жизнь.

Философствуя и резонируя за своих героев, Горький в сильнейшей степени наделял их мечтою о лучшей жизни, то есть об искомой нравственно-социальной правде, которая должна надо всем воссиять и все устроить ко благу человечества. В чем заключается эта правда, горьковские герои поначалу еще не знали, как не знал и он сам. Некогда он ее искал и не нашел в религии. В начале девятисотых годов он увидел (или его научили видеть) ее залог в социальном прогрессе, понимаемом по Марксу. Если ни тогда, ни впоследствии он не сумел себя сделать настоящим, дисциплинированным марксистом, то все же принял марксизм как свое официальное вероисповедание или как рабочую гипотезу, на которой старался базироваться в своей художественной работе.

Я пишу воспоминания о Горьком, а не статью о его творчестве. В дальнейшем я и вернусь к своей теме, но предварительно вынужден остановиться на одном его произведении, может быть — лучшим из всего, что им написано, и несомненно — центральном в его творчестве: я имею в виду пьесу «На дне».

Ее основная тема — правда и ложь. Ее главный герой — странник Лука, «старец лукавый». Он является, чтобы ободрить обитателей «дна» утешительной ложью о существующем где-то царстве добра. При нем легче не только жить, но и умирать. После его таинственного исчезновения жизнь опять становится злой и страшной.

Лука наделал хлопот марксистской критике, которая изо всех сил старается разъяснить читателям, что Лука — личность вредная, расслабляющая обездоленных мечтаниями, отвлекающая их от действительности и от классовой борьбы, которая одна может им обеспечить лучшее будущее. Марксисты по-своему правы: Лука с его верою в просветление общества через просветление личности, с их точки зрения, в самом деле вреден. Горький это предвидел и потому, в виде корректива, противопоставлял Луке некоего Сатина, олицетворяющего пробуждение пролетарского сознания. Сатин и есть, так

сказать, официальный резонер пьесы. «Ложь — религия рабов и хозяев. Правда — бог свободного человека», — провозглашает он. Но стоит вчитаться в пьесу, и мы тотчас заметим, что образ Сатина, по сравнению с образом Луки, написан бледно и — главное — нелюбовно. Положительный герой менее удался Горькому, нежели отрицательный, потому что положительного он наделил своей официальной идеологией, а отрицательного — своим живым чувством любви и жалости к людям. Замечательно, что, в предвидении будущих обвинений против Луки, Горький именно Сатина делает его защитником. Когда другие персонажи пьесы ругают Луку, Сатин кричит на них:

«Молчать! Вы все — скоты! Дубье... молчать о старике!... Старик — не шарлатан... Я понимаю старика... да! Он врал... но — это из жалости к вам, черт вас возьми! Есть много людей, которые лгут из жалости к ближнему... Есть ложь утешительная, ложь примиряющая». Еще более примечательно, что свое собственное пробуждение Сатин приписывает влиянию Луки: «Старик? Он — умница! Он подействовал на меня, как кислота на старую и грязную монету... Выпьем за его здоровье!» Знаменитая фраза: «Человек — это великолепно! Это звучит гордо!» — вложена также в уста Сатина. Но автор про себя знал, что, кроме того, это звучит очень горько. Вся его жизнь пронизана острой жалостью к человеку, судьба которого казалась ему безвыходной. Единственное спасение человека он видел в творческой энергии, которая немыслима без непрестанного преодоления действительности — надеждой. Способность человека осуществить надежду ценил он невысоко, но самая эта способность к мечте, дар мечты — приводили его в восторг и трепет. Создание какой бы то ни было мечты, способность увлечь человечество он считал истинным признаком гениальности, а поддержание этой мечты — делом великого человеколюбия.

Господа! Если к правде святой  
Мир дорогу найти не сумеет,  
Честь безумцу, который навевет  
Человечеству сон золотой.

В этих довольно слабых, но весьма выразительных стихах, произносимых одним из персонажей «На дне», заключен как бы девиз Горького, определяющий всю его жизнь, писательскую, общественную, личную. Горькому довелось жить в эпоху, когда «сон золотой» заключался в мечте о социальной революции как панацее от всех человеческих страданий. Он поддерживал эту мечту, он сделался ее глашатаем — не потому, что так уж глубоко верил в спасительность самой мечты. В другую эпоху с такою же страстностью он отстаивал бы иные верования, иные надежды. Сквозь русское освободительное движение, а потом сквозь революцию он прошел возбудителем и укрепителем мечты, Лукою, лукавым странником. От раннего, написанного в 1893 году рассказа о возвышенном чиже, «который лгал», и о дятле, низменном «любителе истины», вся его литературная, как и вся жизненная деятельность проникнута сентиментальной любовью ко всем видам лжи и упорной, последовательной нелюбовью к правде. «Я искреннейше и непоколебимо ненавижу правду», — писал он Е.Д. Кусковой в 1929 году. Мне так и кажется, что я вижу, как он, со злым лицом, ощетинившись, со вздутой на шее жилой, выводит эти слова.

\* \* \*

13 июля 1924 года он писал мне из Сорренто: «Тут, знаете, сезон праздников, — чуть ли не ежедневно фейерверки, процессии, музыка и “ликование народа”. А у нас? думаю я. И — извините! — до слез, до ярости завидно, и больно, и тошно и т. д.»

Итальянские празднества с музыкой, флагами и трескотней фейерверков он обожал. По вечерам выходил на балкон и созывал всех смотреть, как вокруг залива то там, то здесь взлетают ракеты и римские свечи. Волновался, потирал руки, покрикивал:

— Это в Торре Аннунциата! А это у Геркуланума! А это в Неаполе! Ух, ух, ух, как зажаривают!

Этому «великому реалисту» поистине нравилось только все то, что украшает действительность, от нее уводит, или с ней не считается, или просто к ней прибавляет то, чего в ней нет. Я видел немало писателей, которые гордились тем, что Горький плакал, слушая их произведения. Гордиться особенно нечем, потому что я, кажется, не помню, над чем он *не* плакал,— разумеется, кроме совершенной какой-нибудь чепухи. Нередко случалось, что, разобравшись в оплаканном, он сам же его бранил, но первая реакция почти всегда была — слезы. Его потрясало и умиляло не качество читаемого, а самая наличность творчества, тот факт, что вот — написано, создано, вымышлено. Маяковский, однажды печатно заявивший, что готов дешево продать жилет, проплаканный Максимом Горьким, поступил низко, потому что позволил себе насмеяться над лучшим, чистейшим движением его души. Он не стыдился плакать и над своими собственными писаниями: вторая половина каждого рассказа, который он мне читал, непременно тонула в рыданиях, всхлипываниях и протирании затуманившихся очков.

Он в особенности любил писателей молодых, начинающих: ему нравилась их надежда на будущее, их мечта о славе. Даже совсем плохих, заведомо безнадежных он не обескураживал: разрушать какие бы то ни было иллюзии он считал кощунством. Главное же — в начинающем писателе (опять-таки — в очень даже мало обещающем) он лелеял собственную мечту и рад был обманывать самого себя вместе с ним. Замечательно, что к писателям, уже установившимся, он относился иначе. Действительно выдающихся он любил, как, например, Бунина (которого понимал), или заставлял себя любить (как, например, Блока, которого, в сущности, не понимал, но значительность которого не мог не чувствовать). Зато авторов, уже вышедших из пеленок, успевших приобрести известное положение, но не ставших вполне замечательными, он скорее недолюбливал. Казалось, он сердится на них за то, что уже нельзя мечтать, как они подымутся, станут замечательными, великими. В особенности в этих средних писателях его раздражала важность, олимпийство, то сознание своей значительности, которое, в самом деле, им более свойственно, чем писателям действительно выдающимся.

Он любил всех людей творческого склада, всех, кто вносит или только мечтает внести в мир нечто новое. Содержание и качество этой новизны имели в его глазах значение второстепенное. Его воображение равно волновали и поэты, и ученые, и всякие прожектеры, и изобретатели — вплоть до изобретателей перпетуум-мобиле. Сюда же примыкала его живая, как-то очень задорно и весело окрашенная любовь к людям, нарушающим или стремящимся нарушить заведенный в мире порядок. Диапазон этой любви, пожалуй, был еще шире: он простирался от мнимых нарушителей естественного хода вещей, то есть от фокусников и шулеров,— до глубочайших социальных преобразователей. Я совсем не хочу сказать, что ярмарочный гаер и великий революционер имели в его глазах одну цену. Но для меня несомненно, что, различно относясь к ним умом, любил-то он и того, и другого одним и тем же участком своей души. Недаром того же Сатина из «На дне», положительного героя и глашатая новой общественной правды, он не задумываясь сделал по роду занятий именно шулером.

Ему нравились все, решительно все люди, вносящие в мир элемент бунта или хоть озорства,— вплоть до маниаков-поджигателей, о которых он много писал и о которых мог рассказывать целыми часами. Он и сам был немножечко поджигателем. Ни разу я не видел, чтобы, закуривая, он потушил спичку: он непременно бросал ее непотушенной. Любимой и повседневной его привычкой было — после обеда или за вечерним чаем, когда наберется в пепельнице довольно окурков, спичек, бумажек, — незаметно подсунуть туда зажженную спичку. Сделав это, он старался отвлечь внимание окружающих — а сам лукаво поглядывал через плечо на разгорающийся костер. Казалось, эти «семейные пожарчики», как однажды я предложил их называть, имели для него какое-

то злое и радостное символическое значение. Он относился с большим почтением к опытам по разложению атома; часто говорил о том, что если они удадутся, то, например, из камня, подобранного на дороге, можно будет извлекать количество энергии, достаточное для междупланетных сообщений. Но говорил он об этом как-то скучно, хрестоматийно и как будто только для того, чтобы в конце прибавить, уже задорно и весело, что «в один прекрасный день эти опыты, гм, да, понимаете, могут привести к уничтожению нашей вселенной. Вот это будет пожарчик!» И он прищелкивал языком.

От поджигателей, через великолепных корсиканских бандитов, которых ему не довелось знать, его любовь спускалась к фальшивомонетчикам, которых так много в Италии. Горький подробно о них рассказывал и некогда посетил какого-то ихнего патриарха, жившего в Алессиио. За фальшивомонетчиками шли авантюристы, мошенники и воры всякого рода и калибра. Некоторые окружали его всю жизнь. Их проделки, бросавшие тень на него самого, он сносил с терпеливостью, которая граничила с поощрением. Ни разу на моей памяти он не уличил ни одного и не выразил ни малейшего недовольства. Некий Роде, бывший содержатель знаменитого кафешантана, изобрел себе целую революционную биографию. Однажды я сам слышал, как он с важностью говорил о своей «многолетней революционной работе». Горький души в нем не чаял и назначил его заведовать «Домом Ученых», через который шло продовольствие для петербургских ученых, писателей, художников и артистов. Когда я случайно позволил себе назвать «Дом Ученых» Роде-вспомогательным заведением, Горький дулся на меня несколько дней.

Мелкими жуликами и попрошайками он имел свойство обрастать при каждом своем появлении на улице. В их ремесле ему нравилось сплетение правды и лжи, как в ремесле фокусников. Он поддавался их шуткам с видимым удовольствием и весь сиял, когда гарсон или торговец какой-нибудь дрянью его обсчитывали. В особенности ценил он при этом наглость — должно быть, видел в ней отсвет бунтарства и озорства. Он и сам, в домашнем быту, не прочь был испробовать свои силы на том же поприще. От нечего делать мы вздумали издавать «Соррентинскую правду» — рукописный журнал, пародию на некоторые советские и эмигрантские журналы. (Вышло номера три или четыре.) Сотрудниками были Горький, Берберова и я. Ракицкий был иллюстратором, Максим переписчиком. Максима же мы избрали и редактором — ввиду его крайней литературной некомпетентности. И вот — Горький всеми способами старался его обмануть, подсовывая отрывки из старых своих вещей, выдавая их за неизданные. В этом и заключалось для него главное удовольствие, тогда как Максим увлекался изобличением его проделок. Ввиду его бессмысленных трат, домашние отнимали у него все деньги, оставляя на карманные расходы какие-то гроши. Однажды он вбежал ко мне в комнату сияющий, с пританцовыванием, с потиранием рук, с видом загулявшего мастерового, и объявил:

— Во! Смотрите-ка! Я спер у Марьи Игнатьевны десять лир! Айда в Сорренто!

Мы пошли в Сорренто, пили там вермут и прикатили домой на знакомом извозчике, который, получив из рук Алексея Максимовича ту самую криминальную десятку, вместо того чтобы дать семь лир сдачи, хлестнул лошадь и ускакал, шелкая бичом, оглядываясь на нас и хохоча во всю глотку. Горький вытаращил глаза от восторга, поставил брови торчком, смеялся, хлопал себя по бокам и был несказанно счастлив до самого вечера.

\* \* \*

В помощи деньгами или хлопотами он не отказывал никогда. Но в его благотворительстве была особенность: чем горше проситель жаловался, чем более падал духом, тем Горький был к нему внутренне равнодушнее, — и это не потому, что хотел от людей стойкости или сдержанности. Его требования шли гораздо дальше: он не выносил уныния и требовал от человека надежды — во что бы то ни стало, и в этом сказывался его своеобразный, упорный эгоизм; в обмен на свое участие *он требовал для себя права мечтать* о лучшем будущем того, кому он помогает. Если же проситель своим отчаянием

заранее пресекал такие мечты, Горький сердился и помогал уже нехотя, не скрывая досады.

Упорный поклонник и создатель возвышающих обманов, ко всякому разочарованию, ко всякой низкой истине он относился как к проявлению метафизически злого начала. Разрушенная мечта, словно труп, вызывала в нем брезгливость и страх, он в ней словно бы ощущал что-то нечистое. Этот страх, сопровождаемый озлоблением, вызывали у него и все люди, повинные в разрушении иллюзий, все колебатели душевного благодушия, основанного на мечте, все нарушители праздничного, приподнятого настроения. Осенью 1920 года в Петербург приехал Уэллс. На обеде, устроенном в его честь, сам Горький и другие ораторы говорили о перспективах, которые молодая диктатура пролетариата открывает перед наукой и искусством. Внезапно А.В. Амфитеатров, к которому Горький относился очень хорошо, встал и сказал нечто противоположное предыдущим речам. С этого дня Горький его возненавидел — и не за то вовсе, что писатель выступил против советской власти, а за то, что он оказался разрушителем праздника, *trouble fête*. В «На дне», в самом конце последнего акта, все поют хором. Вдруг открывается дверь, и Барон, стоя на пороге, кричит: «Эй... вы! Иди... идите сюда! На пустыре... там... Актер... удавился!» В наступившей тишине Сатин негромко ему отвечает: «Эх... испортил песню... дур-рак!» На этом занавес падает. Неизвестно, кого бранит Сатин: Актера, который некстати повесился, или Барона, принесшего об этом известие. Всего вероятнее, обоих, потому что оба виноваты в *порче песни*.

В этом — весь Горький. Он не стеснялся и в жизни откровенно сердился на людей, приносящих дурные вести. Однажды я сказал ему:

— Вы, Алексей Максимович, вроде царя Салтана:

В гневе начал он чудесить  
И гонца велел повесить.

Он ответил, насупившись:

— Умный царь. Дурных вестников обязательно надо казнить.

Может быть, этот наш разговор припомнил он и тогда, когда, в ответ на «низкие истины» Кусковой, ответил ей яростным пожеланием как можно скорее умереть.

Самому себе он не позволял быть вестником неудачи или несчастья. Если нельзя было смолчать, он предпочитал ложь и был искренно уверен, что поступает человеколюбиво.

Баронесса Варвара Ивановна Иксуль принадлежала к числу тех обаятельных женщин, которые умеют очаровывать старых и молодых, богатых и бедных, знатных и простолюдинов. В числе ее поклонников значились иностранные венценосцы и русские революционеры. В своем салоне, известном некогда всему Петербургу, она соединяла людей самых разных партий и положений. Говорят, однажды в своей гостиной она принимала свирепого министра внутренних дел, а в это время в недрах ее квартиры скрывался человек, разыскиваемый департаментом полиции. С императрицей Александрой Феодоровной сохранила она добрые отношения до последних дней монархии. Поклонники и враги Распутина считали ее своей. Революция, разумеется, ее разорила. Ее удалось поселить в «Доме Искусств», где я был ее частым гостем. В семьдесят лет она была по-прежнему обаятельна. Горький, как и многие, чем-то ей в прошлом обязанный, несколько раз меня о ней спрашивал. Я ей передавал об этом. Однажды она сказала: «Спросите Алексея Максимовича, не может ли он устроить, чтобы меня выпустили за границу». Горький ответил, что это дело нетрудное. Он велел Варваре Ивановне заполнить анкету, написать прошение и приложить фотографические карточки. Вскоре он поехал в Москву. Варвара Ивановна ждала его возвращения. Наконец он вернулся, и я отправился к нему в тот же день. Он мне объявил, что разрешение получено, но паспорт будет готов только «сегодня к вечеру» и его дня через два привезет А.Н. Тихонов. Варвара Ивановна благодарила меня со слезами, о которых мне стыдно

вспоминать. Она принялась распродавать кое-какое имущество, остальное раздаривала. Я каждый день звонил к Тихонову по телефону. Не успел он приехать — я был уже у него и узнал с изумлением, что Алексей Максимович не поручал ему ничего и что обо всем этом деле он слышит впервые. О том, как я пытался добиться от Горького объяснений, рассказывать неинтересно, да я и не помню подробностей. Суть в том, что он сперва говорил о «недоразумении» и обещал все поправить, потом уклонялся от разговора на эту тему, потом сам уехал за границу. Варвара Ивановна, не дождавшись паспорта, ухитрилась бежать — зимой, с мальчишкою-проводятым, по льду Финского залива пробралась в Финляндию, а оттуда в Париж, где и умерла в феврале 1928 года. Через несколько месяцев после ее бегства я был в Москве и узнал в Наркоминделе, что Горький действительно представил ее прошение, но тогда же получил решительный отказ.

Объяснять этот случай нежеланием признаться в своем бессилии перед властями нельзя: Горький в ту пору даже любил рассказывать о таком бессилии. Насколько я знаю Горького, для меня несомненно, что он просто хотел как можно дольше поддерживать в просительнице надежду и — кто знает? — может быть, вместе с нею тешил иллюзией самого себя. Такой «театр для себя» был в его духе, я знаю несколько пьес, которые он на этом театре разыграл. Из них расскажу одну — зато самую разительную, в которой создание счастливой иллюзии доведено до полной жестокости.

В первые годы советской власти, живя в Петербурге, Горький поддерживал отношения с многими членами императорской фамилии. И вот однажды он вызвал к себе кн. Палей, вдову великого князя Павла Александровича, и объявил ей, что ее сын, молодой стихотворец кн. Палей, не расстрелян, а жив и находится в Екатеринославе, откуда только что прислал письмо и стихи. Нетрудно себе представить изумление и радость матери. На свою беду, она тем легче поверила Горькому, что вышло тут совпадение, не предвиденное самим Горьким: у Палеев были в Екатеринославе какие-то близкие друзья, и спасшемуся от расстрела юноше вполне естественно было бы найти у них убежище. Через несколько времени кн. Палей, конечно, узнала, что все-таки он убит, и таким образом утешительный обман Горького стал для нее источником возобновившегося страдания: известие о смерти сына Горький заставил ее пережить дважды.

Не помню по какому случаю, в 1923 г. он мне сам рассказал все это — не без сокрушения, которое мне, однако же, показалось недостаточным. Я спросил его:

— Но ведь были же в самом деле письмо и стихи?

— Были.

— Почему же она не попросила их показать?

— То-то и есть, что она попросила, да я их куда-то засунул и не мог найти.

Я не скрыл от Горького, что история мне крепко не нравится, но никак не мог от него добиться, что же все-таки произошло. Он только разводил руками, и, видимо, был не рад, что завел этот разговор.

Спустя несколько месяцев он сам себя выдал. Уехав во Фрейбург, он написал мне в одном из писем: «Оказывается, поэт Палей жив и я имел некоторое право вводить в заблуждение граф. (sic!) Палей (sic!). Посылаю вам только что полученные стихи одного поэта, кажется, они плохи».

Прочитав стихи, совершенно корявые, и наведя некоторые справки, я понял все: и тогда, в Петербурге, и теперь, за границей, Горький получил письмо и стихи от пролетарского поэта Палея, по происхождению рабочего. Лично его Горький мог не знать или не помнить. Но ни по содержанию, ни по форме, ни по орфографии, ни даже по почерку стихи этого Палея ни в коем случае невозможно было принять за стихи великокняжеского сына. Писем я не видал, но несомненно, что они еще менее могли дать повод к добро-совестному заблуждению. Горький нарочно ввел себя в заблуждение, а затерял письмо и стихи не только от княгини Палей, но прежде всего и главным образом от себя, потому

что ему пришло в голову разыграть дьявольскую трагикомедию с утешением несчастной матери.

Помимо того, что иное объяснение этой истории вообще дать трудно, я еще потому могу настаивать на своем объяснении, что был свидетелем и других случаев совершенно того же характера.

\* \* \*

Отношение ко лжи и лжецам было у него, можно сказать, заботливое, бережное. Никогда я не замечал, чтобы он кого-нибудь вывел на чистую воду или чтобы обличил ложь — даже самую наглую и беспощадную. Он был на самом деле доверчив, но сверх того еще и притворялся доверчивым. Отчасти ему жалко было лжецов конфузить, но главное — он считал своим долгом уважать творческий порыв, или мечту, или иллюзию даже в тех случаях, когда все это проявлялось самым жалким или противным образом. Не раз мне случалось видеть, что он рад быть обманутым. Поэтому обмануть его и даже сделать соучастником обмана ничего не стоило.

Нередко случалось ему и самому говорить неправду. Он это делал с удивительной беззаботностью, точно уверен был, что и его никто не сможет или не захочет уличить во лжи. Вот один случай, характерный и в этом отношении, и в том, что ложь была вызвана желанием порисоваться — даже не передо мной, а перед самим собой. Я вообще думаю, что главным объектом его обманов в большинстве случаев был именно он сам.

8 ноября 1923 г. он мне писал:

«Из новостей, ошеломляющих разум, могу сообщить, что в “Накануне” напечатано: “Джиоконда, картина Микель-Анджело”, а в России Надеждою Крупской и каким-то М. Сперанским запрещены для чтения: Платон, Кант, Шопенгауэр, Вл. Соловьев, Тэн, Рёскин, Нитче, Л. Толстой, Лесков, Ясинский (!) и еще многие подобные еретики. И сказано: “Отдел религии должен содержать только антирелигиозные книги”. Все сие будто бы<sup>1</sup> отнюдь не анекдот, а напечатано в книге, именуемой: “Указатель об изъятии антихудожественной и контрреволюционной литературы из библиотек, обслуживающих массового читателя”.

Сверх строки мною вписано “будто бы” — тому верить, ибо я еще не могу заставить себя поверить в этот духовный вампиризм и не поверю, пока не увижу “Указатель”.

Первое же впечатление, мною испытанное, было таково, что я начал писать заявление в Москву о выходе моем из русского подданства. Что еще могу сделать я в том случае, если это зверство окажется правдой?

Знали бы Вы, дорогой В.Ф., как мне отчаянно трудно и тяжело!»

В этом письме правда — только то, что ему было «трудно и тяжело». Узнав об изъятии книг, он почувствовал свою обязанность резко протестовать против этого «духовного вампиризма». Он даже тешил себя мечтою о том, как осуществит протест, послав заявление о выходе из советского подданства. Может быть, он даже и начал писать такое заявление, но, конечно, знал, что никогда его не пошлет, что все это — опять только «театр для себя». И вот он прибег к самой наивной лжи, какую можно себе представить: сперва написал мне о выходе «Указателя» как о свершившемся факте, а потом вставил «как будто» и притворился, что дело нуждается в проверке и что он даже «не может заставить себя поверить» в существование «Указателя». Между тем никаких сомнений у него быть не могло, потому что «Указатель», белая книжечка небольшого формата, *давным-давно у него имелся*. За два месяца до этого письма, 14 сентября 1923 г., в Берлине, я зашел в книгоиздательство «Эпоха» и встретил там баронессу М.И. Будберг. Заведующий издательством С.Г. Сумский при мне вручил ей этот «Указатель» для передачи Алексею Максимовичу. В тот же день мы с Марией Игнатьевной вместе выехали во Фрейбург. Тотчас по приезде «Указатель» был отдан Горькому, и во время моего трехдневного пребывания во Фрейбурге о нем было немало говорено. Но Горький забыл об этих разговорах и о том, что я видел «Указатель» у него в руках, — и вот

<sup>1</sup> Слова «будто бы» вписаны над строкой.— В. Х.

беззаботнейшим образом уверяет меня, будто книжки еще и не видел и даже сомневается в ее существовании. Во всем этом замечательно еще и то, что всю эту историю с намерением писать в Москву заявление он мне сообщил без всякого повода, кроме желания что-то разыграть передо мной, а в особенности — повторяю — перед самим собой.

Если его уличали в уклонении от истины, он оправдывался беспомощно и смущенно, примерно так, как Барон в «На дне», когда татарин кричит ему: «А! Карта рукав совал!» — а он отвечает, конфузясь: «Что же мне, в нос твой сунуть?» Иногда у него в этих случаях был вид человека, нестерпимо скучающего среди тех, кто не умеет его оценить. Обличение мелкой лжи вызывало в нем ту же досадливую скуку, как и разрушение мечты возвышенной. Восстановление правды казалось ему серым и пошлым торжеством прозы над поэзией. Недаром в том же «На дне» поборником правды выведен Бубнов, бездарный, грубый и нудный персонаж, которого и фамилия, кажется, происходит от глагола «бубнить».

\* \* \*

«То — люди, а то — человеки», — говорит старец Лука, в этой не совсем ясной формуле, несомненно, выражая отчетливую мысль самого автора. Дело в том, что этих «человеков» надо бы печатать с большой буквы. «Человеков», то есть героев, творцов, двигателей обожаемого прогресса, Горький глубоко чтит. Людей же, просто людей с неяркими лицами и скромными биографиями, — презирал, обзывал «мещанами». Однако ж он признавал, что и у этих людей бывает стремление если не быть, то хотя бы казаться лучше, чем они суть на самом деле: «У всех людей души серенькие, все подрумяниться желают». К такому подрумяниванию он относился с сердечным, деятельным сочувствием и считал своим долгом не только поддерживать в людях возвышенное представление о них самих, но и внушать им, по мере возможности, такое представление. По-видимому, он думал, что такой самообман может служить отправным пунктом или первым толчком к внутреннему преодолению мещанства. Поэтому он любил служить как бы зеркалом, в котором каждый мог видеть себя возвышенной, благородней, умней, талантливей, чем на самом деле. Разумеется, чем больше получалась разница между отражением и действительностью, тем люди были ему признательней, и в этом заключался один из приемов его несомненного, многими замеченного «шармерства».

Он и сам не был изъятием из закона, им установленного. Была некоторая разница между его действительным образом и воображаемым, так сказать, идеальным. Однако весьма любопытно и существенно, что в этом случае он следовал не столько своему собственному, сколько некоему чужому, притом — коллективному воображению. Он не раз вспоминал, как уже в начале девятисотых годов, в эпоху первоначальной, неожиданной славы, какой-то мелкий нижегородский издатель так называемых «книг для народа», то есть сказок, сонников, песенников, уговаривал его написать свою лубочную биографию, для которой предвидел громадный сбыт, а для автора — крупный доход. «Жизнь ваша, Алексей Максимович, — чистые денежки», — говорил он. Горький рассказывал это со смехом. Между тем, если не тогда, то позже, и если не совсем такая лубочная, то все-таки близкая к лубочной биография Горького-самородка, Горького-буревестника, Горького-страдальца и передового бойца за пролетариат постепенно сама собою сложилась и крепла в сознании известных слоев общества. Нельзя отрицать, что все эти героические черты имелись в подлинной его жизни, во всяком случае необычайной, — но они были проведены судьбою совсем не так сильно, законченно и эффектно, как в его биографии идеальной или официальной. И вот — я бы отнюдь не сказал, что Горький в нее поверил или непременно хотел поверить, но, влекомый обстоятельствами, славой, давлением окружающих, он ее принял, усвоил себе раз навсегда вместе со своим официальным воззрением, а приняв — в значительной степени сделался ее рабом. Он считал своим долгом стоять перед человечеством, перед «массаами» в том образе

и в той позе, которых от него эти массы ждали и требовали в обмен за свою любовь. Часто, слишком часто приходилось ему самого себя ощущать некоей массовой иллюзией, частью того «золотого сна», который однажды наваян и который разрушить он, Горький, уже не вправе. Вероятно, огромная тень, им отбрасываемая, нравилась ему своим размером и своими резкими очертаниями. Но я не уверен, что он любил ее. Во всяком случае, могу ручаться, что он часто томился ею. Великое множество раз, совершая какой-нибудь поступок, который был ему не по душе или шел вразрез с его совестью, или наоборот — воздерживаясь от того, что ему хотелось сделать или что совесть ему подсказывала, — он говорил с тоской, с гримасой, с досадливым пожиманием плеч: «Нельзя, биографию испортишь». Или: «Что поделаешь, надо, а то биографию испортишь».

От нижегородского цехового Алексея Пешкова, учившегося на медные деньги, до Максима Горького, писателя с мировой известностью, — огромное расстояние, которое говорит само за себя, как бы ни расценивать талант Горького. Казалось бы, сознание достигнутого, да еще в соединении с постоянной памятью о «биографии», должны были дурно повлиять на него. Этого не случилось. В отличие от очень многих, он не гонялся за славой и не томился заботой о ее поддержании; он не пугался критики, так же как не испытывал радости от похвалы любого глупца или невежды; он не искал поводов удостовериться в своей известности, — может быть, потому что она была настоящая, а не дутая; он не страдал чванством и не разыгрывал, как многие знаменитости, избалованного ребенка. Я не видал человека, который носил бы свою славу с большим умением и благородством, чем Горький.

Он был исключительно скромен — даже в тех случаях, когда был доволен самим собой. Эта скромность была неподдельная. Происходила она, главным образом, от благоговейного преклонения перед литературой, а кроме того — от неуверенности в себе. Раз навсегда усвоив довольно элементарные эстетические понятия (примерно 70-х, 80-х годов), в своих писаниях он резко отличал содержание от формы. Содержание казалось ему хорошо защищенным, потому что опиралось на твердо усвоенные социальные воззрения. Зато в области формы он чувствовал себя вооруженным слабо. Сравнивая себя с излюбленными и даже с нелюбимыми мастерами (например — с Достоевским, с Гоголем), он находил у них гибкость, сложность, изящество, утонченность, которыми сам он не располагал, — и не раз в этом признавался. Я уже говорил, что свои рассказы случалось ему читать вслух сквозь слезы. Но когда спадало это умиленное волнение, он требовал критики, выслушивал ее с благодарностью и обращал внимание только на упреки, пропуская похвалы мимо ушей. Нередко он защищался, спорил, но столь же часто уступал в споре, а уступив — непременно садился за переделки и исправления. Так, я его убедил кое-что переделать в «Рассказе о тараканах» и заново написать последнюю часть «Дела Артамоновых». Была, наконец, одна область, в которой он себя сознавал беспомощным — и страдал от этого самым настоящим образом.

— А скажите, пожалуйста, что мои стихи, очень плохи?

— Плохи, Алексей Максимович.

— Жалко. Ужасно жалко. Всю жизнь я мечтал написать хоть одно хорошее стихотворение.

Он смотрит вверх грустными, выцветшими глазами, потом вынужден достать платок и утереть их.

Меня всегда удивляла и почти волновала та необыкновенно человеческая непоследовательность, с которой этот последовательный ненавистник правды вдруг становился правдолюбом, лишь дело касалось его писаний. Тут он не только не хотел обольщений, но напротив — мужественно искал истины. Однажды он объявил, что Ю.И. Айхенвальд, который был еще жив, несправедливо бранит его новые рассказы, сводя политические и личные счеты. Я ответил, что этого быть не может, потому что, во многом не сходясь с Айхенвальдом, знаю его как критика в высшей степени беспристраст-

ного. Это происходило в конце 1923 г. в Мариенбаде. В ту пору мы с Горьким сообща редактировали журнал «Беседа». Спор наш дошел до того, что я, чуть ли не на пари, предложил в ближайшей книжке напечатать два рассказа Горького — один под настоящим именем, другой под псевдонимом — и посмотреть, что будет. Так и сделали. В 4-й книжке «Беседы» мы напечатали «Рассказ о герое» за подписью Горького и рядом другой рассказ, который назывался «Об одном романе», — под псевдонимом «Василий Сизов». Через несколько дней пришел номер берлинского «Руля», в котором Сизову досталось едва ли не больше, чем Горькому, — и Горький сказал мне с настоящею, с неподдельною радостью:

— Вы, очевидно, правы. Это, понимаете, очень приятно. То есть не то приятно, что он меня изругал, а то, что я, очевидно, в нем ошибался.

Почти год спустя, уже в Сорренто, с тем же рассказом вышел курьез. Приехавший из Москвы Андрей Соболев попросил дать ему для ознакомления все номера «Беседы» (в советскую Россию она не допускалась). Дня через три он принес все книги обратно. Кончился ужин, все были еще за столом. Соболев стал излагать свои мнения. С похвалой говорил о разных вещах, напечатанных в «Беседе», в том числе о рассказах Горького, — и вдруг выпалил:

— А вот какого-то этого Сизова напрасно вы напечатали. Дрянь ужасная.

Не помню, что Горький ответил и ответил ли что-нибудь, и не знаю, какое у него было лицо, потому что я стал смотреть в сторону. Перед сном я зачем-то зашел в комнату Горького. Он уже был в постели и сказал мне из-за ширмы:

— Вы не вздумайте Соболеву объяснять, в чем дело, а то мы будем стыдиться друг друга, как две голых монахини.

Перед тем как послать в редакцию «Современных записок» свои воспоминания о Валерии Брюсове, я прочел их Горькому. Когда я кончил читать, он сказал, помолчав немного:

— Жестоко вы написали, но — превосходно. Когда я помру, напишите, пожалуйста, обо мне.

— Хорошо, Алексей Максимович.

— Не забудете?

— Не забуду.

*Париж, 1936*